

Помню, как неприятно поразили меня однажды строки Бродского:

Я не люблю людей...  
Что-то в их лицах есть,  
что противно уму...

Кажется, так открыто ещё никто не признавался в человеконенавистничестве. Или в человекобезразличии, как, например, Георгий Иванов:

А люди? Ну на что мне люди?  
Идёт мужик, ведёт быка.  
Сидит торговка: ноги, груди,  
платочек, круглые бока.

Насколько больше импонирует нам народническая экзальтация Пастернака:

Превозмогая обожанье,  
я наблюдал, боготворя.  
Там были бабы, слобожане,  
учащиеся, слесаря...

Или благородное самоуничужение Ахмадулиной:

Это я, человек-невеличка,  
всем, кто есть, прихожусь близнецом...  
Плоть от плоти сограждан усталых,  
хорошо, что в их длинном строю  
в магазинах, в кино, на вокзалах  
я последнею в кассу стою.

Но были ли они в этих стихах так же безоглядно искренни, как Бродский и Г. Иванов? Пастернак, скорее, «превозмогал» свою суть, а не «обожанье», когда писал о любви к простым людям. Слишком непростым человеком был он сам, чтобы органично вписаться в компанию «учащихся» и «слесарей». И вряд ли бы они поняли его сумасшедший захлѐб, заговори он с этими людьми на своём языке. (Домработница Пастернака, послушав его сумбурные речи, сказала как-то с долей сочувствия: «У нас в деревне тоже был один такой: говорит-говорит, а половина — негоже»). Нет, что-то натужное, искусственное, добровольно-принудительное слышится мне в этих его строчках о любви к народу. Природа, музыка, поэзия, философия — да, но не люди. То есть не люди «без шестых чувств», следуя определению Цветаевой. Они так же безразличны Пастернаку, как и то, «какое, милые, у вас, тысячелетье на дворе?». И «пил» он лишь с Байроном и Эдгаром По, не меньше. Эти небожители могли «сливаться» только с себе подобными.

И Ахмадулиной вряд ли удавалось слиться с толпой, «как слово и слово на моём и на их языке». Хотя пить могла с кем угодно, и восхищаться крысомором, и воспевать садовника, и водить дружбу с дачными рабочими. Но любила она при этом не этих людей, о которых могла говорить самые невозвышенные и превозносящие до небес слова («имею право расточать, я не оскудею»), а — себя, и «не себя даже, а производимое ею впечатление», как точно подметил Ю. Нагибин. «Белла холодна, как лёд». И, вознеся, могла следом окатить холодом безразличия: стать «безнадѐжно равнодушной к тем самым людям, которых перед этим обласкала». («Дневник» Ю. Нагибина). Гораздо органичнее для неё одиночество: «Как холодно ты замыкаешь круг»... «Утешусь, прислонясь к твоей груди, / Умоюсь твоей стужей голубою». Но этот царственный холод снежной королевы ей ближе ненастоящего плебейского тепла. Она способна «ощутить сиротство как блаженство». «Тишь библиотек», «концертов строгие мотивы» — вот что созвучно её душе. На что ей люди? Да и она — им?

...Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.

«Прощай, — говорят, — мы-то знаем тебя не по книжкам.

А всё же для смеха стишок и про нас напиши.

Ты нам не чужая — такая простая, что слишком...»

Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,

заснеженных этих равнин и дорог обитатель.

За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,  
ещё и за то, что не ты моих книжек читатель.

В читателях «от мира сего» не нуждался и Фёдор Сологуб:

Что мне мир. Он осудит  
иль хвалой оскорбит.  
Тёмный путь мой пребудет  
нелюдим и сокрыт.

Всё земное Сологуб считал тяжким бременем, злом. Люди его утомляли, он старался быть от них подальше. В одиночестве видел единственно возможное для поэта существование:

Оставь селенья, иди далёко  
или создай пустынный край,  
и там безмолвно и одиноко  
живи, мечтай и умирай.

...Послушай моё пророчество  
и горькому слову поверь:  
в диком холоде одиночества  
я умру, как лесной зверь.

Он не выносил грубой Жизни, которая представлялась Сологубу румяной и деблой бабищей-Евой в отличие от прекрасной лунной Лилит — его Мечты.

Мечтатель, странный миру,  
всегда для всех чужой, —

таким он остался в памяти потомков. Отчуждение от мирских привязанностей проповедовал Блок:

Всё на земле умрёт: и мать, и младость,  
жена изменит и покинет друг,

но ты учись вкушать иную радость,  
глядясь в холодный и полярный круг.

И к вздрагиваньям медленного хлада  
усталую ты душу приучи,  
чтоб было Здесь ей ничего не надо,  
когда Оттуда ринутся лучи.

И Георгий Иванов пытался учиться у Блока этой божественной отрешённости, мечтая обрасти такой же защитной коркой ледяного бесстрастия, но у него это плохо получалось:

Когда же я стану поэтом  
настолько, чтоб всё презирать,  
настолько, чтоб в холоде этом  
бесчувственным светом играть?

А Цветаева? Вся жизнь — роман лишь с собственной душой. Безоглядный порыв навстречу кому-то, кто показался «вровень», «равносилен» и «равномощен», и — горькое разочарование, когда спадала с глаз пелена, и рядом оказывался всего лишь «грешок грошовый», «убожество», «бедняк», а в сущности — обычный человек, простой смертный. «Я взяла тебя из грязи — в грязь родную возвращаю!». Жар крылатых объятий сменяет высокомерный холод царственных лат. Но — ненадолго, «до первого чужого, который скажет пить».

А всё же с пути сбиваюсь,  
(особо весной!).

А всё же по людям маюсь,  
как пёс под луной.

Однако это ненасытимая Танталова жажда, умирание от жажды над ручьём. «Чуть встретишь — уж рвёшься прочь». Но это «вероломство» — не что иное как верность себе, своему призванию, гению, внутреннему голосу, верность своему высокому Духу, который не терпит никакого насилия над собой, никакого принижения, никаких чуждых ему слияний. «Я ни с кем, одна, всю жизнь, без читателей, без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато... А зато — всё».

Я часто привожу эти слова М. Цветаевой, но что-то на этот раз помешало мне закончить на столь высокой отрешённой ноте. А если конкретно — то эссе Аделаиды Герцык, которыми в последнее время зачитываюсь. Исследователи Серебряного века пишут о ней, как правило, лишь в «цветаевском контексте», хотя это была оригинальная и вполне самостоятельная литературная фигура. Так вот закончить мне хотелось бы её словами об отношении к людям и о том, какую роль они играют в её творческой судьбе: «Я не умею общаться с людьми, питаться плодами их духа. Но я не могу без них — они нужны мне... Моя любовь, моя жалость, моё нетерпение влекут меня к людям, не давая покоя. Я вяну без ласки человеческой и жадно, как свет солнечный, тяну её в себя. И, не зная, что с ней делать, — отдаю её назад, но распускаюсь, согретая. Не мысли, не идеи, а что-то другое нужно мне в людях — очень внешнее, или очень внутреннее — за чертой слов и понятий». («Мои блуждания», 1915).